# Жизнь тому назад

# Лазарь Лагин

В первые первые я увидел Маяковского и разговаривал с ним, точнее — задал ему несколько вопросов, в Центральной литературной студии ЛИТО (то есть Литературного отдела) Наркомпроса. Была такая студия в тысяча девятьсот двадцатом — двадцать первом учебном году: первая попытка молодого Советского государства наладить организованную подготовку литераторов. Создана она была, как и сам ЛИТО, попечением Валерия Яковлевича Брюсова.

Занимались мы несколько раз в неделю, по вечерам (все мы были люди весьма занятые). Обычно присутствовало человек десять-пятнадцать, поэтому каждый новый человек примечался сразу.

На одном из занятий я заметил двух неизвестных. Это определенно не были студийцы. Студийцев я знал в лицо. Это, тем более, не были лекторы. Для нашей профессуры они были слишком молоды. Почти одногодки, лет по двадцать шесть — двадцать семь. Они сидели в стороне от большого, крытого зеленым сукном, длиннющего стола, за которым проходили наши занятия, на маленьком дамском письменном столике, беззаботно свесив ноги. Сидели, слушали лектора, сдержанно веселились, по-мальчишески болтая ногами, и изредка обменивались явно ехидными репликами, нашептывая их друг другу на ухо.

Один из них — высокий, стриженный под машинку, с энергично выступающим подбородком, другой — ростом пониже, подвижный как ртуть, с изрядной, не по возрасту, лысиной.

Судя по их лицам, им было что возразить лектору.

А лектором в этот вечер был Михаил Осипович Гершензон. Перед ним белел на сукне листок бумаги с планом лекции, но он на листок не смотрел — во-первых, потому, что он прекрасно помнил и план и материал лекции, но главным образом потому, что он смотрел, и со все возрастающим раздражением, на перешептывающихся незнакомцев. Нет, они, упаси боже, нисколько не шумели. Они перешептывались совершенно бесшумно, но было нетрудно догадаться, что на его счет.

Говорят (лично я ни тогда, ни впоследствии этим вопросом не занимался), что у Гершензона было что сказать нового и интересного насчет творчества Тургенева, о котором в тот вечер шла речь. Но его зачастую весьма ценные наблюдения и выводы обычно бывали сдобрены такой лошадиной дозой мистики, что вызывали живейшее желание возразить лектору у каждого, кто смотрел на мир без потребности немедленного выколупывания из него волнующих зерен иррационального и потустороннего.

Гершензон, это мы все видели, весь напружинился, глаза его свирепо сузились, но он сделал над собой усилие и, стараясь не смотреть на дерзких нарушителей спокойствия, продолжал свою лекцию. Так все шло внешне вполне благополучно, пока Гершензон во всеоружии мистической терминологии не заговорил о роли вдохновения в творчестве Тургенева.

И тут незнакомец, который повыше, не выдержал и громким, хорошо поставленным басом подал реплику:

— А по-моему, никакого вдохновенья нет.

Гершензон высоко поднял брови, словно только теперь заметил присутствие посторонних, и еще более ровным голосом быстро возразил:

— Вы бы этого не сказали, если бы занимались искусством.

Незнакомцы еще больше развеселились, и тот, который подал первую реплику, подал и вторую:

— Не скажите. Пописываю.

— Значит, неважно пописываете.

— Не могу пожаловаться.

— Не знаю, не знаю, — с учтивой улыбочкой отвечал Гершензон.

— Литературу надо знать, — назидательно, как маленькому, сказал незнакомец.

Тут второй незнакомец, который пониже, совсем развеселился, от полноты чувств хлопнул своего товарища по коленке и торжествующе воскликнул:

— Разрешите представить: Владимир Владимирович Маяковский.

Маяковский в свою очередь хлопнул его по коленке:

— А это Виктор Борисович Шкловский!

Вот это была сенсация! Чувствуя, что все наше внимание обращено на гостей, Гершензон самолюбиво закруглил свою лекцию. Но он слишком был литератором, чтобы обидеться, и смиренно остался за столом уже на правах простого слушателя.

Не помню уже, почему Маяковский решительно отказался читать нам стихи, — кажется, из-за только что перенесенной болезни. А может быть, потому, что не смог превозмочь своей обиды на ЛИТО. Недаром в одной из анкет, заполненных им в том же двадцатом году, он сделал приписку: «Одиннадцать лет пишу и ругаюсь с глупыми. Признан за поэта всеми, кроме ЛИТО, печатать хотят все, кроме Госиздата».

Словом, Маяковский наотрез отказался. Зато мы уговорили Шкловского, и он прочел нам небольшой доклад о том, как построен «Тристрам Шенди». Не знаю, как другие студийцы, но что до меня, то я ни о «Тристраме Шенди», ни о его авторе Стерне тогда еще и слыхом не слыхивал. А слушать Шкловского было все же чертовски интересно. Это был совершенно новый для меня технологический, что ли, разбор произведения. Я был тогда еще очень молод, мне еще не было и семнадцати лет. Мне тогда казалось, что стоит только хорошенечко вникнуть в несколько подобных разборов, и тебе откроется тайна сочинения вполне приличной прозы.

В кабинет Брюсова, где велись наши занятия, мы ходили через большое помещение, в котором дореволюционные хозяева особняка, вероятно, устраивали званые вечера с танцами. На дощатой эстраде стоял большой концертный рояль. Со стены, с картины Репина, опершись на толстую трость, неодобрительно смотрел на пустынный зал писатель Писемский. Не то в конце апреля, не то в первых числах ноября тысяча девятьсот двадцать первого года я в этом зале впервые слушал Маяковского. Он прочел два тогда еще не опубликованных стихотворения.

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской железной дороге)», — строго объявил он, утвердившись перед роялем, на самой кромке эстрады, и сразу начал:

В сто сорок солнц закат

пылал,

в июль катилось лето...

Не буду врать, меньше всего я в те минуты интересовался тем, как зал реагирует на стихи моего любимого поэта, но могу засвидетельствовать — были долгие и дружные аплодисменты, значительно более долгие и дружные, чем это можно было ожидать в ЛИТО, где к Маяковскому относились довольно прохладно, чтобы не сказать больше.

— А теперь, — сказал Маяковский, с каменным лицом переждав аплодисменты, — я прочту совсем недавно написанное «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе».

Рядом со мной стоял (стульев было чертовски мало) мужчина лет под пятьдесят, с подчеркнутой, но уже здорово траченной молью респектабельностью, в изрядно пожелтевшем стоячем воротничке с загнутыми уголками, в пенсне с золотой оправой. Он его снял, свое пенсне, как только Маяковский вышел на эстраду, и тщательно, чуть ли не до дыр протирал замшевым лоскутком, пока Маяковский читал первое свое стихотворение, протирал и во время второго стихотворения, всем своим видом давая понять, что считает себя выше подобной поэзии, что он ее попросту не замечает.

Теперь я следил за лицами слушателей и видел, как даже люди, долго крепившиеся, вдруг помимо своей воли заулыбались.

Маяковский кончил читать, грянули рукоплескания. Мой сосед, напялив наконец на свой точеный носик пенсне, тоже совсем уж было собрался поаплодировать, уже он и руки надлежащим манером изготовил, но в последнюю секунду передумал, вынул из кармана носовой платок и довольно звучно для респектабельного человека высморкался.

Д вадцать четвертый год. Весна. Бывшая Богословская аудитория Московского университета, которая тогда еще, кажется, не была переименована в Коммунистическую. Вечер Маяковского. Маяковский отвечает на записки.

*Вопрос*: Кого вы, товарищ Маяковский, считаете самым интересным из современных советских прозаиков!

*Маяковский*: Бабеля.

*Голоса из зала*: Кого, кого? Повторите фамилию!

*Маяковский*: Ба-бе-ля!

*Шум в зале. То, что называется — «веселое оживление».* Ох уж этот Маяковский!.. Вечно разыгрывает публику!.. Слыхали, какой-то Бабель... Наверно, из футуристов...

*Маяковский* (подняв над головой довольно толстый журнал):

— Читайте рассказы Бабеля в четвертом номере журнала «Лэф»!..

*Голоса с места*: Ах, вот в чем дело!.. Обычная реклама любимому журналу!.. Всяк кулик свое болото хвалит!.. Как вы сказали: Вавель?..

*Маяковский* (не повышая голоса): Ба-бель... Запомните, четвертый номер «Лефа». Не пожалеете...

Так Маяковский открывал для советского читателя талант Бабеля.

Как часто и в те годы и позже обвиняли Маяковского в групповщине, в том, что он захваливает «своих» — лефовцев — и всячески принижает достижения и литературные заслуги членов других тогдашних литературных группировок. Но ведь трудно себе представить писателя, в меньшей степени отвечавшего каноническим лефовским требованиям, нежели Бабель!

Я никогда не забуду, как в 1926 году в Ростове-на-Дону, в комнатке подвала Дома печати, где ростовские писатели собрались на встречу с Маяковским, он читал нам (и как читал! Не хуже автора!) «Улялаевщину» Сельвинского и «Гренаду» Светлова. Он был рад, что мог первым прочитать нам эти произведения. А ведь Илья Сельвинский был самым главным конструктивистом, а молодогвардеец Михаил Светлов — тот и вовсе одно время состоял в «Перевале».

Вот тебе и групповщина!

С тех пор прошло почти полстолетия, и я забыл фамилию этого лощеного и крикливого молодого человека. Назовем его для удобства ну хоть Коровичем, что ли!

Политехнический музей. Большая аудитория. На эстраде Маяковский. Он аккуратно разложил на столе книжки и журналы, которые будет цитировать, снял с себя пиджак, повесил его на спинку стула, вышел к краю эстрады и перед тем, как приступить к докладу, обращается в зал с вопросом:

— Корович пришел?

Этого вопроса ожидали. В зале оживление, люди заулыбались. Частые посетители вечеров Маяковского, а таких всегда бывало в аудитории вполне достаточно, знали вертлявого, тощего, претенциозно модно одетого молодого человека с богатырскими ватными плечами пиджака. Надо полагать, в нем погибли задатки модного портного: он завел себе неимоверно обширные плечи за десятилетия до того, как они стали обычным атрибутом модного пиджака. Коровича томил чудовищный комплекс неполноценности, и он выбрал себе легкий путь к самоутверждению и славе. Он ходил на все вечера Маяковского и не щадил своей глотки, выкрикивая всякие обидности и пакости.

Вот Маяковский и стал каждый раз перед началом выступления осведомляться у аудитории, пришел ли уже Корович, который, дескать, стал необходимым атрибутом всякого литературного вечера.

Веселые голоса издала откликались:

— Пришел Корович!.. Здесь Корович!.. А как же!..

Маяковский (деловито):

— Значит, можно начинать.

Так продолжалось несколько раз, пока уже из зала, не ожидая вопроса Маяковского, стали кричать:

— Пришел, пришел!.. Здесь голубчик!..

И ведь на что мелкий человечишка был Корович, а пал в конце концов духом и замолк.

Зачастил одно время на вечера Маяковского другой «активист», радетель «чистого искусства». Этот чуть что орал: «Моссельпром!.. Моссельпром!» — в том смысле, что вот Маяковский небось считает себя настоящим поэтом, а опустился до того, что пишет стихотворные подписи к рекламным плакатам этого только что тогда организованного советского треста. Они кончались, эти подписи, облетевшими всю страну словами: «Нигде, кроме как в Моссельпроме». С точки зрения ревнителей «чистого искусства» писание таких подписей попахивало профанацией поэзии.

Слушал Маяковский эти выкрики не раз и не два, да и сказал:

— Вы знаете, почему этот гражданин против Моссельпрома! У него папа частник!

Гром аплодисментов, крикливый борец против Моссельпрома в глубоком нокауте. Замолк.

Враждебные выкрики почти всегда из передних, дорогих рядов. Тут и нэпманов хватает, и околонэпманской интеллигенции и полуинтеллигенции. Молодежь, комсомольцы, студенты, рабфаковцы — горой за Маяковского. Но ответы Маяковского на реплики с мест настолько молниеносны, остроумны, так без промаха бьют, что зачастую смеются его ответам и те, кто пришел в надежде на скандал.

Сколько раз Маяковскому пришлось отвечать на выкрики из зала: «Маяковский! Рабочие вас не понимают!»

Обычно он на подобные декларации отвечал уважительно, но раз не выдержал: выкрикнул ему эту обидную фразу мужчина весьма не пролетарского облика, и Маяковский ответил:

— Если вы от рабочего класса, почему у вас голос такой писклявый!

Именно не «пискливый», а «писклявый». Это было особенно уничижительно — «писклявый».

Какой-то интеллигентный нэпман весь в мыле, давясь от бешенства, подбегает к самой эстраде и, потрясая кулачками, кричит:

— Вы не поэт, Маяковский!.. Вы труп, труп, труп!..

Маяковский почти сочувственно смотрит на сразу оробевшего и обмякшего господинчика и задумчиво, не повышая голоса, обращается к аудитории:

— Странное дело: я — труп, а смердит он!

Были, конечно, и среди хороших советских людей многие, кто не целиком, а иногда и вовсе не принимал Маяковского. Многие из них потом переменили свое мнение, другие так и не признали его подлинно новаторскую, революционную поэзию. Что правда, то правда. Но еще в большей степени правда, что все реакционное, контрреволюционное, что оставалось еще в те годы в юной Республике Советов, даже фамилии Маяковского не могло слышать без скрежета зубовного.

За долгие годы своих публичных выступлений Маяковский получил не одну тысячу записок. Очень много дружеских, одобрительных но, очевидно, и немалое количество враждебных — на то он и был поэтом Революции. Хватало среди последних и насчет того, что рабочие его, дескать, не понимают. Он и на них отвечал. Убедительно отвечал. Слава богу, поднакопился кой-какой опыт. Но каждый раз, я этому неоднократно был свидетелем, он воспринимал подобное обвинение с такой же болью, как и впервые.

В седьмом номере журнала «Дон» за 1968 год в связи с семидесятипятилетием со дня рождения Маяковского был помещен очерк старейшего ростовского поэта Вениамина Жака. В нем рассказывалось о Маяковском в Ростове-на-Дону.

Описание выступления Владимира Владимировича в знаменитой «столовке» Ленинских мастерских Владикавказской железной дороги завершается так:

«В конце вечера, может быть под впечатлением выступления Лагина, Маяковский проголосовал:

— Кому понятны мои стихи!

Поднял руки весь зал».

С «может быть» спорить трудно. Лично я уверен, что и без моего выступления голосование дало бы тот же самый результат. Но смею думать, что оно во всяком случае не ухудшило отношения собравшихся в столовой железнодорожников и членов их семей к Маяковскому и его творениям.

Память об этом вечере, пожалуй, самое дорогое воспоминание в моей достаточно долгой литературной жизни. С него началось мое длившееся до самых последних дней поэта доброе (я бы сказал — не разовое) с ним знакомство. На этом вечере я произнес единственную в моей жизни по-настоящему очень нужную и мне и другим речь на литературную тему. И если я сорок с лишним лет не решался выступить с воспоминаниями о Маяковском, то только потому, что опасался первый говорить о том, что между делом, но все же на двух колонках из шестнадцати рассказал обо мне в связи с пребыванием Маяковского в Ростове Вениамин Константинович Жак.

Теперь я чувствую себя вправе сделать некоторые дополнения и уточнения к этому интересному очерку, по крайней мере в той части, которая касается моей скромной особы.

Для этого мне предварительно нужно сказать несколько слов о первой в том году встрече ростовских писателей с Маяковским, которая состоялась в начале февраля двадцать шестого года в подвале Дома печати. Тогда он располагался на углу Суворовской и проспекта Карла Маркса. Кстати, именно здесь и в том же году читал нам совсем еще молоденький, Александр Фадеев свой еще не опубликованный «Разгром». Была бы моя воля, я бы отметил это место специальной мемориальной доской.

До сих пор не пойму, почему я в тот памятный вечер сидел вместе с Александром Бусыгиным, председательствующим, поэтом Обуховым и, конечно, нашим почетным гостем Маяковским на эстраде впритирочку за куцапеньким и зыбким столиком президиума. Надо полагать, я удостоился этой чести как единственный тогда в Ростове представитель красноармейской музы. Для нас, ростовских поэтов, это было не обычное собрание: мы читали свои стихи Маяковскому. Пролетарские поэты, с замиранием сердца выносящие свои произведения на суд «попутчику» Маяковскому! И не тайком, а в организованном порядке. Ситуация!

Вряд ли можно переоценить то чувство оскорбленной справедливости, какое испытывал в течение долгих лет Маяковский, нося, как тяжкие вериги, проклятую, обидно незаслуженную бирку «попутчик». Но ее всерьез (а может быть, в глубине души и там — не всерьез) принимали только в центральных рапповских канцеляриях. Все, что было живым и мало-мальски, одаренным в советской пролетарской поэзии, считало за честь похвалу этого пламенного поэта-борца. И мы, ростовские, рапповские поэты в том числе. Только говорить это вслух, а особенно с трибуны, было не принято, а с точки зрения рапповской дисциплины — в высшей степени предосудительно и даже преступно.

Почти все наличествовавшие в тот вечер ростовские поэты вынесли на суд Маяковского по нескольку своих произведений. Я прочел отрывки из своей поэмы «Песня об английском табаке» и стихотворение «Отделком», то есть отделенный командир.

Об отрывках из моей поэмы Маяковский отозвался более чем прохладно (литературные реминисценции, книжность), а «Отделкома» похвалил. И дал мне путевку в жизнь, сказав:

— Этот писать будет.

И вот уже без малого полвека, как я крепко помню эти три слова и всю ответственность, которую они на меня налагают.

В том же году, 27 ноября Маяковский выступал в знаменитой «столовке» (в девятьсот пятом здесь заседал Ростовский совет рабочих депутатов). В этот ненастный воскресный вечер просторное помещение было битком набито, и поэт прекрасно отдавал себе отчет, что перед ним цвет ростовского рабочего класса, как тогда любили выражаться ораторы.

Десятки молодых железнодорожников приветствовали его у проходных ворот и торжественно проводили в «столовку», до самой сцены. Всегда подчеркнуто спокойный, Маяковский был явно взволнован.

Интересный, своеобразный и остроумный собеседник и докладчик, он на сей раз в своем вступительном слове, казалось, превзошел самого себя.

Аплодисментами зала закончилось вступительное слово. Затем полагался обмен мнениями и напоследок Маяковский должен был читать стихи.

Первое слово в прениях взял заранее подготовленный организаторами вечера для затравки разговора парень лет двадцати. Судя по всему, литкружковец. Фамилию его я забыл. Кажется, что-то вроде Кочкина. Минут пятнадцать он с апломбом ученика, хорошо выучившего урок, незатейливо растолковывал собравшимся, почему Маяковский и его произведения чужды рабочему классу и непонятны. Все объяснялось чрезвычайно просто. Чужд Маяковский потому, что попутчик, о чем всем уже очень давно известно, а нам требуются настоящие пролетарские поэты. Почему Маяковский попутчик, а не настоящий пролетарский поэт, это любому ребенку понятно, и он лично на эту тему распространяться не будет. А непонятен Маяковский потому, что пишет непонятно и вытрющивается, вместо того чтобы писать понятно и не вытрющиваться.

Я сидел за кулисами и видел: у Маяковского на его сразу помрачневшем лице играли желваки, от прежнего его радостного возбуждения не осталось и следа. И сразу стало видно, что он очень, очень устал и от подобных жестоких, неблагодарных укоров, и просто от того, что это его выступление было не то пятым, не то шестым за последние двое суток, не считая утомительной поездки в переполненном поезде вчера из Ростова в Новочеркасск и сегодня утром — обратно в Ростов.

Отбарабанил молодой товарищ Кочкин свой «отпор» непонятному и неразумному попутчику и ушел провожаемый снисходительными жиденькими и, я бы сказал, недоуменными рукоплесканиями.

И наступила долгая, душу выматывающая пауза. Никто не записывался в прения. Ни в зале, ни за кулисами, где нас собралось несколько человек, более или менее причастных к литературе. Поддерживать и «развивать аргументацию» Кочкина совесть не позволяла, а возражать ему не позволяла рапповская дисциплина. Вернее, не дисциплина, а традиция, что ли. Пламенные уговоры Бусыгина, председательствовавшего на вечере, не помогли, и тогда он решился на запрещенный прием. Он вернулся на сцену, к своему председательскому столику, и с самым невинным видом предоставил слово мне, автору этих строк. Я, конечно, и не готовился к такому. А расчет Бусыгина был на наши дружеские отношения (не захочу же я, в самом деле, его подвести). И этот расчет безотказно сработал.

— А-а-а, — понимающе протянул Маяковский, увидев меня выходящим из-за кулис, и мрачно ухмыльнулся. А понимать это надо было в том смысле, что вот говорил я про этого политрука, что он будет писать, обласкал его, похвалил его стихотворение, а он сейчас будет про меня...

Я его правильно понял, и мне стало очень обидно: какие основания он имел так плохо обо мне думать!

И в то же время я впервые за многие годы постиг всю глубину горечи, которую испытывал Маяковский в эту и множество подобных минут.

— Тут до меня выступал товарищ Кочкин, — начал я свой вынужденный экспромт. — Товарищ Кочкин от имени всего победоносного рабочего класса Советского Союза укорял, давал оценку, иногда снисходительно похлопывал по плечу, но главным образом порицал нашего замечательного революционного, пролетарского поэта товарища Маяковского. Мне хочется первым делом задать предыдущему оратору два вопроса. Первый вопрос: понятны ли вам лично, товарищ Кочкин, произведения товарища Маяковского?

— Не во мне дело! — гордо ответил с места Кочкин. — Я-то понимаю. Рабочий класс не понимает, вот что важно!

— Какая отеческая забота о рабочем классе, который непонятно каким манером сумел без руководства товарища Кочкина победить царизм, капитализм, интервенцию, прекрасно разбирается в управлении первым в мире пролетарским государством, но, бедненький, никак не разберется в стихах товарища Маяковского. Что, вот эти стихи рабочий класс не понимает?

Я прокричал на весь зал: «Ешь ананасы, рябчиков жуй! День твой последний приходит, буржуй!» С этим стишком матросы штурмовали в Октябре Зимний! Или, может быть, эти стихи непонятны!

Пусть,

оскалясь короной,

вздымает британский лев

вой!

Коммуне не быть

покоренной!

Левой!

Левой!

Левой!

Меня трясло от возбуждения, от обиды за моего любимого поэта, за его прекрасную, боевую, такую нужную народу работу.

(Между прочим, не перестаю удивляться, как точно, почти слово в слово, я запомнил мой тогдашний экспромт.)

— Нет, товарищ Кочкин, вы выступали самозванцем. Рабочий класс вам не давал такого поручения. Настоящий рабочий, если даже что-нибудь и не сразу ему понятно, призадумается, постарается понять и обязательно поймет. Кстати, даже американские миллиардеры не нанимают людей разжевывать за них конфеты. По крайней мере, я еще пока об этом нигде не читал. Если хорошая вещь не сразу раскусывается, то только неразумный младенец ее отшвырнет...

Полвека с лишним я время от времени выступаю с речами, но не было у меня ни до того вечера, ни после него выступления, где меня бы так слушали, где бы я так легко, яростно и доказательно говорил на литературную тему. Несколько раз мою речь прерывали дружные рукоплескания всего зала, и я прекрасно понимал, что это не мне хлопают, а Маяковскому — за его великолепные стихи, за то, что они народны в самом высоком смысле слова, за великий и повседневный его писательский подвиг.

— Сейчас вам сам товарищ Маяковский будет читать стихи, и вы, голову даю на отсечение, все поймаете, все до последней строчки прочувствуете как свое, рабочее, нужное народу... Ужасно мне жалко, товарищ Маяковский, что вы завтра уезжаете. Пригласил бы я вас в гости к Красной Армии, к нам, в Краснознаменный двадцать седьмой полк девятой Донской дивизии. Выступили бы вы перед нашими бойцами, командирами и политработниками. И они были бы вам очень благодарны и безусловно так же вас поняли бы, как сейчас вас поймут трудящиеся славных Ленинских мастерских!

Выкрикнул я эту фразу полузадохшийся от волнения, спрыгнул со сцены в зал и сел на свободное место в первом ряду.

Боюсь, что Маяковский разволновался не меньше моего. Он подошел к кромке сцены и спросил меня:

— Вы что, здешний или москвич!

— Москвич.

— Приходите ко мне завтра в гостиницу часов в одиннадцать утра. — Он сказал мне адрес. — Только обязательно приходите.

А потом Маяковский долго и с радостью читал стихи. После каждого — гром аплодисментов. Его попросили прочесть из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Он прочел несколько больших отрывков. Потом он читал стихи об Октябре, о партии.

А потом Маяковский, счастливый и усталый, пригласил:

— Кому понятны мои стихи, подымите руки!

Весь зал поднял руки.

В очень интересной книжке Павла Ильича Лавута «Маяковский едет по Союзу» после более подробного описания этого примечательного голосования мы читаем: «Маяковский встретился в тот день с писателями, с комсомольцами и с рабкорами. Молодежь отправилась на вокзал провожать его...»

Тут Павлу Ильичу маленечко изменила память: они с Маяковским уехали только на следующий день, в понедельник. Я этот день на всю жизнь запомнил. В этот день я впервые по приглашению Маяковского был у него в гостях.

Комиссар полка не сразу отпустил меня середь дня в гости. В роте, особенно для ее политрука, должность которого я исполнял, дел было по горло. С трудом убедил я его, что меня действительно пригласил к себе знаменитый поэт Маяковский. Комиссар отпустил меня, приказал передать Маяковскому красноармейский привет и пригласить посетить наш полк во время следующего посещения Ростова.

В начале своего визита я здорово осрамился, показал себя далеко не с самой лучшей стороны.

На столе в вазочке светилась горка мандаринов.

— Угощайтесь! — сказал мне Маяковский, когда я снял с себя шинель и шлем. Тогда еще в армии ходили в шлемах-богатырках.

— Спасибо, не хочется, — ляпнул я от смущения, по всем канонам мещанской благовоспитанности, хотя у меня слюнки потекли, когда я увидел мандарины.

По гостеприимно улыбавшемуся лицу Владимира Владимировича пробежала легкая тень разочарования.

Несколько мгновений мы молчали, потом я неуверенно проговорил:

— Владимир Владимирович, беру свои слова обратно. Я вам соврал. Я вам это сейчас докажу на практике.

— Вот это другое дело, — рассмеялся Маяковский. — Милости прошу, доказывайте на здоровье.

Я бросился доказывать, горка мандаринов помаленьку превратилась в плоскогорье и совсем скоро превратилась бы в пустыню, если бы я не призвал себя к порядку.

А тем временем Маяковский говорил мне о работе над стихом.

— Написал стихотворение, — сказал он, — положи под подушку. Через несколько дней извлеки из-под подушки, внимательно прочитай, и ты увидишь, что не все у тебя гладко. Выправь, и снова под подушку на некоторое время. Семь раз проверь перед тем, как понести в редакцию.

Грешным делом я попытался «взять реванш» за мою поэму, попытался процитировать кусочек. Он остановил меня: «Напрасный труд. Я ее отлично помню». — И подробно пересказал мне мои стихотворные разоблачения лондонского Сити.

— Вот это да! — восхитился я. — С февраля месяца запомнили!

— У меня, молодой человек, память, как дорога в Полтаву: каждая калоша в ней застревает. А вот «я вместе с ними написал о том в Москву, где у меня знакомый есть редактор» — это сказано свободно и ново. Это я из вашего настоящего стихотворения, которое, да будет вам известно, называется «Отделком».

Потом он расспрашивал меня о жизни в нашем полку и очень веселился, когда я ему рассказывал про командира роты, в которой я исполнял обязанности политрука. Его звали Шандор Шандорович Волан, мадьяр из военнопленных мировой войны, участник гражданской войны, прекрасный человек с одним, но зато совершенно неизлечимым недостатком: он обожал произносить речи перед вверенной ему ротой. Говорил он по-русски неописуемо плохо, с чудовищным акцентом. Одной из моих обязанностей было уговаривать Волана не выступать перед ротой, потому что красноармейцам смешно его слушать и это неминуемо отражается на дисциплине.

Мы побеседовали часа полтора, и все это время я видел перед собой совсем другого, непривычного Маяковского. Уж на что я был тогда молод, но и до меня вдруг дошло, что этот на эстраде столь ершистый, задиристый, язвительный, а иногда и грубоватый человек — в обычной жизни мягкий, добрый и очень легко ранимый.

На прощанье он взял с меня обещание, что я в Москве ему позвоню и буду носить свои стихи в журнал «Новый Леф», который с будущего, 1927 года будет выходить под его редакцией.

— Вы будете носить, а я буду их помаленечку браковать, и вы заживете, молодой человек, в сказочном счастье.

Когда я уже застегивал поверх шинели пояс, Маяковский усмехнулся и спросил как бы между делом:

— А вам не влетит от рапповского начальства за вчерашнее выступление!

— Как-нибудь обойдется, — с деланной небрежностью ответил я, хотя и не без некоторого, ну, скажем, любопытства ждал очередного заседания нашей ассоциации.

Обошлось.

А отдельные наши товарищи даже хвалили мое выступление. Конечно, неофициально.

Я не очень назойливый человек, и в Москве не особенно часто затруднял Маяковского своей особой. Несколько раз я по разным поводам ему звонил, посетил его по его приглашению в нынешнем проезде Серова, имел честь горделиво восседать в числе других считанных счастливчиков у задней стены эстрады Большой аудитории Политехнического музея во время выступлений Маяковского. Он мне подарил первый номер «Нового Лефа» со своим автографом и росчерком во всю длину первой страницы.

Примерно через год мы как-то встретились на Страстной, ныне Пушкинской, площади. Он пожал мне руку и строго спросил:

— Вы что же, молодой человек, Фет или Тютчев! Сколько мне раз надо приглашать вас приносить стихи в «Новый Леф»?

— А я, Владимир Владимирович, больше стихов не пишу.

— Это почему ж такое варварство?

— А я пораскинул мозгами и понял, что так, как вы, я писать никогда не сумею, а так, как некоторые другие, — я лучше сейчас повешусь.

— Гм-гм!.. Решительно, ничего не скажешь. Вы далеко не безнадежны как поэт, но, конечно, вам видней... Что ж, расстались с литературой?

— А я, Владимир Владимирович, попробую себя в прозе... А что это у вас приколото, такое красивое! — заинтересовался я, заметив на лацкане его пиджака поблескивавший красной эмалью значок с буквами ОДР.

— Общество «Долой рукопожатия!» — рассмеялся он, пожимая мне на прощанье руку.

Но я уже разобрался, что это значок недавно организованного добровольного Общества друзей радио.

Он был очень красив в тот день: высокий, богатырски сложенный, с гордо поставленной головой. Прохожие, как всегда, с любопытством, а многие — и с восхищением оглядывались на поэта, который шел по Тверской улице в сторону площади, которую впоследствии назвали его именем.

В качестве политработника запаса я отбывал повторный сбор в должности дублера комиссара отдельного батальона связи. Работать мне пришлось с ребятами толковыми, хорошо грамотными и достаточно озорными. Сбор подходил к концу. По традиции его полагалось завершить концертом. Мне показалось, что это как раз тот случай, когда можно с пользой для дела использовать доброе ко мне отношение Маяковского. В самом деле, чем черт не шутит! Моим подопечным это будет первоклассный сюрприз. Среди них много почитателей Маяковского, а видеть и послушать его интересно всем.

Я позвонил Владимиру Владимировичу.

— Здравствуйте, Владимир Владимирович, у меня к вам агромаднейшая просьба.

— Выкладывайте, товарищ экс-поэт.

Я изложил свою просьбу.

Маяковский чуть помедлил с ответом. Потом сказал:

— Голубчик, я себя последние дни омерзительно чувствую. Позвоните мне денька через три-четыре...

Этот разговор происходил десятого апреля тысяча девятьсот тридцатого года, в одиннадцатом часу утра.